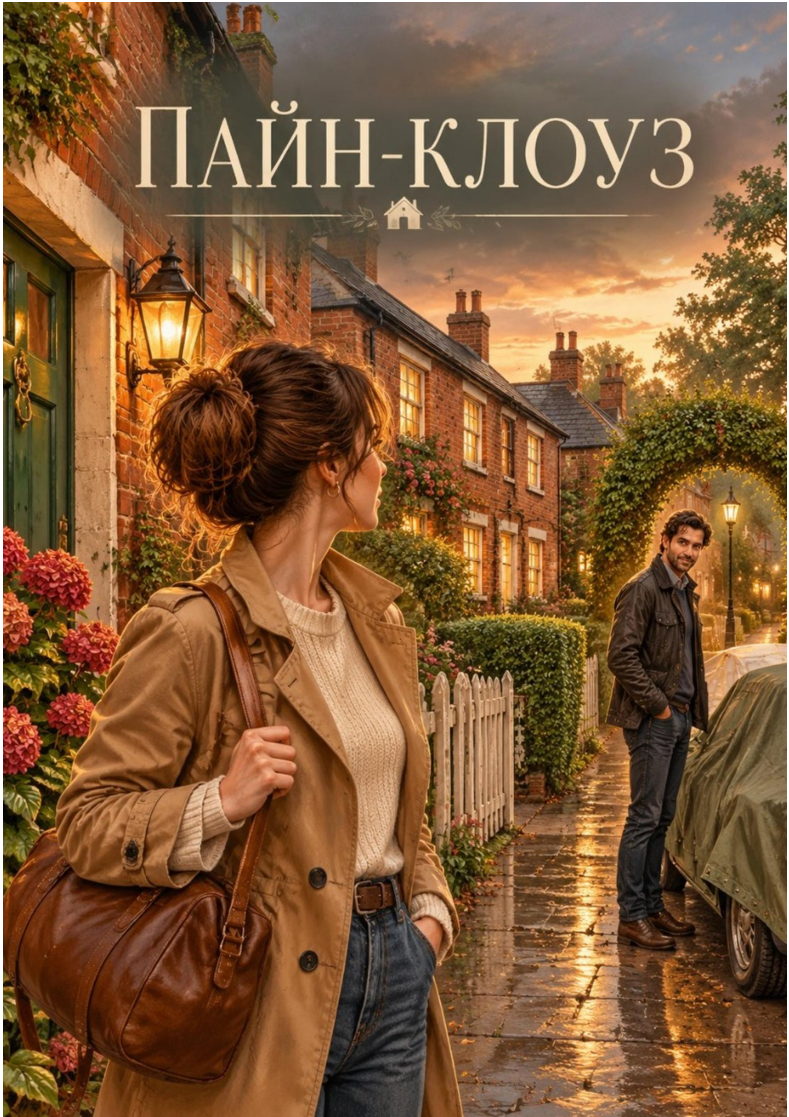

Пайн-клоуз

Ксения Быстрова
Пайн-клоуз

https://litres.ru/74760203
SelfPub; 2026

Аннотация

Хэтти возвращается из Милана в Пайн-Клоуз — тихий английский тупик, где соседи знают друг о друге всё, а иногда даже больше. Ей достаётся дом, требующий ремонта, участие в деревенском празднике и сосед Кэл, которому она по ошибке платит за помощь двадцать фунтов.

Среди семейных недомолвок, чужих советов и неожиданной дружбы Хэтти предстоит разобраться не только с домом, но и с собственной жизнью. Тёплая история о возвращении, новых началах и людях, которые оказываются рядом именно тогда, когда нужны.

Содержание

Глава первая. Двадцать фунтов 5
То, о чём она думала в четыре утра 17
Глава вторая. План от геодезиста 18
Глава третья. Шесть человек и чайник 30
То, что она написала в ту ночь 39
Глава четвёртая. Право собственности 40
Глава пятая. Мэгги 51
Конец ознакомительного фрагмента. 57

Пайн-клоуз

Глава первая. Двадцать фунтов

Навигатор сказал «вы прибыли», когда вокруг не было ничего, кроме изгороди и темноты.

Хэтти остановила машину и посмотрела на экран телефона с тем чувством, с каким смотрят на человека, который только что уверенно соврал. Тёмный прямоугольник, подпись «Pine Close», синяя точка, стоящая в чистом поле.

Арка из тёмного кирпича проступила слева, когда фары отразились от чего-то белого. На ней была прибита табличка: «ПАЙН-КЛОУЗ», а под ней, мельче: «Тупик».

Конечно, тупик. Символично. Она даже начала формулировать шутку и тут же остановилась: шутить было некому.

Вечер до этого был длинный и состоял из повторов. Дорога — восемьдесят километров из аэропорта, с остановкой на заправке, где она купила воду за два фунта сорок и потом полчаса мысленно пересчитывала эту воду. Не потому, что два фунта сорок были проблемой. Потому что теперь они были. Она держала это в голове как факт, который однажды придётся назвать вслух, и всячески откладывала.

Мать обещала, что к приезду кто-нибудь будет — то ли насчёт замка, то ли насчёт бойлера; Хэтти уже не помнила, о чём именно, потому что все мамины сообщения кончались словами «в общем, не волнуйся».

Дом номер четыре оказался предпоследним. Улица состо-

яла из восьми домов, выстроенных в двадцатых годах одинаковой шеренгой, с разными судьбами и одинаковыми прихожими. Мать присылала фотографии в июле. На фотографиях дом выглядел готовым, приветливым, почти отремонтированным. В реальности он выглядел как дом, который обещали отремонтировать.

Хэтти выключила фары и посидела минуту в темноте.

В сумочке лежали ключи — два, на кольце от миланской квартиры. Ключей было два, и оба от чужой жизни. Она открыла дверь, вошла, включила свет, и прихожая встретила её ковром, запахом старого и стопкой коробок у стены с маминым почерком на боку: «ХЭТТИ. КНИГИ?».

Знак вопроса мать дописала отдельно — теперь, очевидно, когда ей стало интересно, зачем в её доме стоят сорок килограммов книг человека, который живёт в Италии.

Она включила чайник, нашла кружку, нашла пакетик чая в жестянке, которую мать, вне всякого сомнения, завела в две тысячи восьмом, и села на пол в кухне, потому что стульев ещё не было.

Где-то за стеной залаяла собака. Лаяла она недолго — глухо, дважды, как будто сообщала факт, а не выражала чувства. Хэтти, к собственному удивлению, почувствовала что-то похожее на сочувствие. Ночь, новый сосед, все раздражители. Она тоже гавкнула бы дважды.

В половине двенадцатого она вышла к машине за сумкой с ноутбуком — в пижамных штанах и в отцовской куртке,

которую нашла в прихожей.

Дорожку перекрывала машина.

Точнее — бывшая машина. Хэтти поставила сумку и осмотрела препятствие. Это было нечто старое, английское, вишнёвого цвета — судя по тем кускам, которые ещё оставались окрашенной металлической поверхностью, а не ржавчиной. Капот отсутствовал. На месте капота стоял второй капот, отдельно, прислонённый к стене. На земле вокруг были разложены — не брошены, а разложены, ровно, по прямой — части, названий которых Хэтти не знала. Рядом, на кирпичах, лежала деревянная доска, и на ней гаечные ключи, выложенные по длине.

И под всем этим стояло девятилитровое ведро с бензином, прикрытое сверху перевёрнутой кастрюлей, потому что начал накрапывать дождь.

Хэтти обошла всё это, оценила зазор между изгородью и задним крылом, и зазор был тридцать сантиметров. Машина, взятая на время у отца, в этот зазор не проходила.

И усталость — та самая, которая копилась всю дорогу и все эти годы и наконец нашла себе помещение, — набрала в ней голос.

Она вернулась к двери, дёрнула звонок (раздался треск, который бывает у звонков, когда им очень много лет) и после этого стукнула в дверь ладонью.

За домом номер пять загорелся свет. Не в окне, а сбоку, где, судя по всему, была пристройка и работал человек, по-

тому что свет был везде. Через полминуты из-за угла вышел мужчина в дождевике, с фонарём. В его затылке не было ничего предосудительного, но Хэтти уже была готова.

— Вы, — сказала она, — извините. Здравствуйте. Вы, я так понимаю, от мамы?

Мужчина остановился, держа фонарь низко, у колена. Лица было не разобрать: подбородок, темнота, что-то вокруг рта, что через секунду оказалось щетиной.

— От мамы, — повторил он.

— Ну. — Хэтти показала на машину и на её вишнёвые раны. — От Валери. Из четвёртого дома. Это же вы присланы?

— Я из пятого.

— Да. — Она кивнула. — Из пятого. — И, поскольку он не двигался, уточнила: — Так мама вам сказала, что я приеду в двенадцать?

— Маме будет новость, — сказал он.

Хэтти закрыла глаза на секунду. Вот она, эта секунда. Именно так всё и начиналось — она всё время чуть-чуть неточно ставила себя в пространстве и потом целую неделю разбирала последствия.

— Хорошо. Пусть. — Она выдохнула, и выдох вышел не вздохом усталого человека, а тем особенным, очень быстрым женским выдохом, за которым в Милане всегда следовал ассистент с папкой. — Слушайте. Я приехала. Я девять часов в пути. Мне нужно поставить машину и лечь спать. Здесь есть где-то место, куда я могу это, — она обвела пространство,

— сдвинуть?

— Это не моё.

— Я не говорю, что ваше. Я говорю — сдвинуть. — Она наконец разглядела табличку на доме номер пять, забранную в изгородь; табличка была латунная, с именем, бессмысленным в данную минуту. — Простите, как вас зовут?

— Сами откатите.

— Я?

Фигура в дождевике не шевельнулась. Фонарь по-прежнему светил в землю, но теперь Хэтти разобрала, что человек стоит просто, без вызова, слегка расставив ноги, как стоят люди, которые не собираются никуда торопиться до утра. Она видала эту повадку: так стояли рабочие, которых она заказывала и потом двадцать раз перепроверяла расписание. Она умела с ними разговаривать. Именно поэтому разговор пошёл так, как пошёл.

— Мне кажется, вы не понимаете масштаба, — сказала она. — Я сюда только что приехала. — Она повернулась и показала на свою машину, и это было очень хорошее, совсем недавно двести процентов верное движение: разворот плечом, рука в воздухе, весь мир вокруг. — Это моя машина. Это — то, что вы здесь разложили. Между ними тридцать сантиметров. Я не могу припарковаться в тридцать сантиметров, и, если честно, я не уверена, что этого хватит для приземления. Так что я не очень понимаю, от кого именно сейчас требуется что-то откатить.

Мужчина в дождевике молчал.

— Послушайте. — Хэтти изменила голос, и голос получился у неё очень приятным, потому что она умела это делать: разом развязать, разоружить, перевести в человеческое. — Я не хочу в двенадцать ночи ругаться с соседом. Давайте так: вы мне помогаете, я вам за это плачу, и мы это забываем. Хорошо?

Она достала кошелёк. В кошельке была двадцатка, купленная по прилёту с той специфической логикой, по которой человек, впервые за много лет приехавший на родину, первым делом меняет деньги на наличные, как в шестьдесят восьмом. Наличных, к её текущему большому сожалению, у неё не должно было быть вообще.

Она протянула двадцать фунтов.

И вот теперь — вокруг этого был целый отдельный разговор, которого она долго не могла себе простить, — вот теперь, в этот момент, человек в дождевике наклонил голову набок, как наклоняют голову, когда слышат неожиданный звук вдалеке, и сказал:

— За сколько?

— Простите?

— Двадцать. За что вы мне платите двадцать фунтов?

Хэтти держала купюру в воздухе.

— За то, чтобы вы откатили машину, — сказала она. — За то, что я могу здесь встать и лечь спать. Я думаю, это дёшево.

— Дёшево, — согласился он.

Он подошёл. Первое, что она отметила, — что дождь идёт, а он как будто об этом не помнит. Второе — что он просто взял у неё купюру из рук, сложил её вдвое, положил в нагрудный карман и не сказал на это ничего: ни доброго, ни злого.

А потом он подошёл к своей машине, встал сзади, взялся и толкнул.

Полторы тонны ржавчины покатились на тридцать сантиметров, потом ещё на метр, потом ещё, и он знал, где остановиться. Хэтти стояла и не двигалась, и держала руку так, как будто в ней всё ещё была купюра.

— Там есть фонарь? — спросил он, показав на её дом.

— ...Нет. — Она обернулась. — Нет. Там, кажется, перегорел.

— Точно перегорел, — сказал он и пошёл к себе на крыльцо, в ящик у двери, и щёлкнул выключателем. Свет упал на лицо — обыкновенное, думать о котором ей в голову не пришло.

Он вернулся, подставил к стене четвёртого дома лестницу, снял колпак с фонаря над её крыльцом, возился минут пять — и над номером четыре загорелся тусклый жёлтый свет, единственный работающий на всей улице.

Хэтти как-то очень отчётливо поняла, что если она сейчас не скажет «спасибо», то не уснёт до трёх.

— Спасибо, — сказала она.

Он спустился, сложил лестницу.

— На левом заднем колесе гвоздь, — сказал он. — Отсюда видно по ободу. До утра спустит.

— Это… — Хэтти остановилась. — Что мне с этим делать?

— Утром поменять.

— Понятно. — Она стояла. — Всего доброго.

— Всего доброго.

Он перекинул лестницу на плечо и пошёл через изгородь. Хэтти смотрела, как он идёт, чувствуя, что где-то очень далеко в ней происходит то, что происходит с погодой за час до смены погоды. Она сложила руки на груди.

— Погодите, — сказала она. И, когда он обернулся: — Вы так и не сказали. Как вас зовут.

— Кэл.

— Кэл — это… Кэл.

— Кэл.

— Кэл. — Она кивнула, сама не понимая зачем, и обвела подбородком его дом, его машину, дождь, изгородь и всё это на свету единственного на улице фонаря. — Так мама прислала вас?

Он посмотрел на неё секунду или две.

— Спокойной ночи, Хэтти, — сказал он. И ушёл.

Она стояла у своей машины. В сумке лежали ключи от миланской квартиры, и какая-то часть её сознания, очень тихая, очень педантичная, уже начала складывать:

Он знает, как меня зовут.

Она занесла сумку, заперлась, легла, не раздеваясь, на матрас на полу и включила телефон.

Мать позвонила в двенадцать пятьдесят — с тем бесстрашием, с каким матери звонят дочерям в двенадцать пятьдесят, потому что им очевидно, что дочь не спит.

— Добралась? — сказала она. — Небось орала на весь тупик.

Хэтти смотрела в потолок.

— Мам. Скажи мне, что это был не мой сосед.

Пауза. Мать умела делать паузу, которая длилась ровно столько, сколько нужно, чтобы человек сам поднял голову и обернулся.

— Боже мой, — сказала она. — Ты его не узнала.

— Кого я должна была узнать?

— Ты в него небось чем-нибудь кинула.

— Я заплатила.

Мать помолчала. Пауза была не осуждающая — скорее та, с какой человек сдерживает очень тихое восхищение.

— Кэл, — сказала мать. — Кэл Морган. Через два дома от тебя. Морганы, помнишь? У них ещё был Шон, а отец всё ходил с палкой.

Хэтти села на матрасе.

— Нет.

— Ты таскала ему книжки, — сказала мать. — Целое лето. Я тебе говорила: не таскай ты ему эти книжки, они тяжёлые. А ты ходила, как в галерею, с зонтом.

— Я не помню.

— Ещё бы ты помнила. Тебе было девять.

— Мне было не девять.

— А сколько?

— Не помню.

Пауза. Потом — дальше, уже с этой материнской, безжалостной и совершенно нежной, бесшовной интонацией:

— Шон-то тот умер, — сказала она. — А Кэл этот вернулся жить, годы назад. С виду он неказистый, конечно. Машина эта у него стоит разобранная на всю улицу, полтупика ему уже высказало. Но мальчик очень умный, между прочим. Собака у него отличная.

Хэтти сидела на матрасе в пустом доме, и стопка коробок с надписью «ХЭТТИ. КНИГИ?» стояла у стены, как маленькая судьба.

— Спокойной ночи, мама.

— Ага. Ты в первую ночь всегда спать не можешь.

Она легла. Телефон положила экраном вниз, потом перевернула.

В три она сдалась и, чтобы не думать, полезла в коробку: если лежать без дела, мысли приходят сами, а если разбирать коробки, они приходят занятыми.

Сверху лежала чёрная папка с резинкой. Хэтти знала, что в ней: летние программки, квитанции, расписание электричек — и копия завещания Августы Райт, бабки, которая оставила Валери два дома в тупике, поле за изгородью и одно

условие: не продавать их никому из местных.

Но сверху, под резинкой, лежало не это.

Это было отпечатанное на мамином принтере, с вытекшим по краю цианом, объявление:

«ПАЙН-КЛОУЗ. ЛЕТНИЙ ПРАЗДНИК. ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ. ПРОСЬБА НЕ ПАРКОВАТЬСЯ У ЦЕРКВИ».

И внизу, от руки: «ОТДАЛА В ПЕЧАТЬ. ВСЁ ХОРОШО».

Хэтти перевернула лист.

На обороте был план. Комковатый чёрно-белый план с растром в клеточку, какие печатают в объявлениях: тропинка, живая изгородь, «поле РАЙТА», «стоянка» и стрелка к «ПАЛАТКАМ». Много лет назад мать начертила это от руки, потом отсканировала, потом размножила — и с тех пор каждый год копировала копию копии, так что теперь в клеточках плавал мусор, как в аквариуме.

В самом низу, мелким шрифтом:

«Оргкомитет благодарит: Совет прихода, паб «Пять колоколов», цветочный магазин «У Барбары», К. МОРГАНА — за литературную часть и ценную консультацию».

Хэтти посмотрела на это три раза.

Потом взяла телефон.

Страница открылась быстро — быстрее, чем всё, что ей открывалось в этом доме. И была не такой, как она ожидала: жёлто-белой, с рекламой по бокам, из тех, что живут на под-

домене у газеты и выглядят так, будто их сверстал человек в две тысячи девятом и больше не трогал.

Кэл Морган. Литературный критик. Обозреватель.

Дальше шло то, что читают глазами и не запоминают: названия журналов, где он печатался, — три, все приличные, одно даже то самое, которое Хэтти знала, потому что в Милане его читали в примерочных; год, когда он получил премию; фотография, на которой он был моложе и хуже, чем в жизни.

Хэтти пролистала до конца.

«Проживает в Пайн-Клоуз», — было написано в последнем абзаце, в настоящем времени, но с такой интонацией, будто это примечание на случай, если кто-то ещё спросит.

Она положила телефон на грудь.

За стеной глухо, дважды, гавкнула собака.

В полночь это был просто звук. Теперь у звука был хозяин, и хозяин этот писал о масштабе.

И вот тут до неё дошло. Не всё — та маленькая часть, до которой вообще доходит в три часа ночи.

Она вышла на улицу в половине двенадцатого и объяснила человеку, что он не понимает масштаба.

Человеку, который писал о масштабе.

* * *

То, о чём она думала в четыре утра

Ей запомнились руки. Не он — руки. И это было самое неприятное: тело запоминает раньше памяти, потому что тело запоминает глупо и прямо. Полторы тонны. То, как он складывал двадцать фунтов: точно, манерно, как складывают билет на балкон.

Ей было под тридцать. У неё был человек в Милане, который считался человеком в её жизни. И она лежала на матрасе в пустом доме, где не было стула, и обдумывала двадцать фунтов.

Она обдумывала их часа два.

Потому что все эти годы её оскорбляли почтительно. А он, кажется, не оскорбился вовсе.

* * *

Глава вторая. План от геодезиста

Первое, что Хэтти подумала утром, было: извиниться надо до девяти.

Второе: у неё нет ни одной вещи, кроме той, в которой она спала.

Она лежала на матрасе, не раздеваясь, при включённом свете, и смотрела в потолок, на котором было коричневое пятно размером с тарелку и формы, которую она не хотела называть. Телефон показывал шесть минут седьмого. За окном было светло так, как бывает светло только в английском пригороде в июле, — неярко, ровно, окончательно, будто свет включили, а не взошло солнце.

Дом, если посмотреть на него утром, был лучше, чем ночью, и хуже, чем на фотографиях.

Она прошла по нему босиком, составляя опись. Кухня: одна кружка, чайник, жестянка с чаем, три пакетика, ложка. Прихожая: ковёр, коробки, отцовская куртка на гвозде. Гостиная: пусто, плинтус, розетка без крышки. Спальня: матрас, на матрасе она, на подоконнике — гвоздь. Ванная: зеркала нет, есть крючок от зеркала, есть вода, которая шла сначала рыжая, потом перестала.

Бойлер в шкафу на кухне издавал звук, который издаёт человек, когда ему не хочется отвечать на вопрос.

Хэтти набрала матери. Восемь минут седьмого.

— Бойлер, — сказала она.

— Работает?

— Издаёт.

— Это он так разговаривает, — сказала мать. — Ему чуть больше двадцати.

— Мам, у меня нет стула.

— Сейчас привезу.

— Один?

— Пока один.

Она умылась над раковиной, стараясь не смотреть в то место, где висело зеркало. Там была стена и крючок. Отражение всё же нашлось — в мокрой плитке, косое и по частям, и в нём было видно ровно столько, чтобы понять: с этим на люди не идут. Джинсы со вчера. Футболка со вчера. Волосы собраны и дважды пересобраны.

Она села на подоконник в гостиной и начала репетировать.

Версия первая, короткая: «Я хотела извиниться. Я была не права. До свидания».

Версия вторая, с достоинством: «Я хотела извиниться за вчерашнее. Я устала с дороги и вела себя не лучшим образом. Надеюсь, мы это забудем».

Версия третья, та, которую хотелось на самом деле, но которая была невозможна: «Мне очень стыдно, и я не знаю, как это выговорить, поэтому я просто скажу: мне очень стыдно».

Она выбрала вторую. Потом испортила её в уме, добавив

«и, если честно, я не обязана была знать, кто вы такой», потом испортила ещё раз и поняла, что репетирует уже не извинение, а защиту, и что извинение, которое репетируют как защиту, — это не извинение.

В семь минут восьмого она вышла.

Утро пахло мокрым камнем и скошенной травой, и на улице кто-то уже стучал молотком через два дома. Кусок машины у пятого дома выглядел утром ещё абсурднее: вишнёвый металл, ржавчина, капот, прислонённый к стене, и всё это — на фоне аккуратно подстриженного газона, который, если честно, был лучшим газоном на улице.

Между четвёртым и пятым домом была изгородь. Хэтти шла вдоль неё и краем глаза отмечала странность, которую не сразу смогла назвать: изгородь была разной высоты. Слева от невидимой вертикальной линии она поднималась метра на три, как стена, и стояла космато, с рыжими проплешинами внутри. Справа была подстрижена ровно, как борода у человека, который за собой следит.

Разница была не по всей длине, а ровно до середины — и там, где одна половина кончалась, начиналась вертикальная ступенька, будто кто-то взял и отрезал.

В этой ступеньке был проём. В проёме стояла собака.

Хэтти остановилась.

Собака была серая, очень худая, с длинной мордой и глазами человека, которому сообщили плохую новость, но он решил не портить вечер. Она стояла, посмотрела на Хэтти,

потом подошла, не спрашивая, и прислонилась к её ноге. Не ткнулась носом, не вильнула хвостом — просто прислонилась боком, всей своей невесомой тощей тяжестью, и вздохнула.

— Ты кто, — сказала Хэтти.

Собака подняла голову.

— Ты, — сказала Хэтти, — меня не знаешь.

Собака легла.

— Хорошо. — Хэтти огляделась. — Чья ты?

— Моя.

Он стоял у себя на крыльце с кружкой в руке. Сегодня на нём не было дождевика, и это оказалось проблемой, потому что дождевик был большой и бесформенный, а футболка была не большая и не бесформенная, и под ней явно был человек, а не просто рабочий.

Хэтти очень быстро пересобрала лицо.

— Доброе утро, — сказала она. — Я собственно к вам. Я хотела извиниться за вчерашнее.

— За что?

Вот это она не предусмотрела. В трёх версиях было «извиниться за вчерашнее» — цельное, общее, удобное, как вагонетка на рельсах. Он вынул рельсы.

— За то, что... — начала она и обнаружила, что перечислять придётся по частям. — Я приняла вас не за того, кто вы есть.

— За кого?

— Это не имеет значения.

— Имеет, — сказал он. — Вы мне заплатили.

Собака у её ног подняла голову, посмотрела на него, потом на неё, и снова положила.

— Я приняла вас за человека, которого наняла моя мать, — сказала Хэтти.

— Это не оскорбление, — сказал он. — Меня мать тоже иногда нанимает.

— Я была груба.

— Были.

— И я хочу это забыть.

— Хорошо, — сказал он. — Забудем.

Она стояла.

— Вы не собираетесь говорить, что тоже хороши? — спросила она.

— Я не был.

— Вы откатили машину так, как будто делаете одолжение.

— Я и делал одолжение.

— И взяли деньги.

— Взял.

— Так что вы тоже, — сказала Хэтти, — не совсем...

Она остановилась, потому что фраза не имела конца, который не был бы унизительным для неё самой.

— Ладно, — сказала она. — Я хотела извиниться. Я извинилась. — Пауза. — Я могу получить двадцать фунтов обратно?

— Нет.

— Почему?

— Пока не решил, — сказал он.

Собака встала, потянулась, зевнула во весь рот и ушла обратно в проём.

— Это Бисквит, — сказал он. — Она вас почему-то любит. Это не делает вам чести.

— За что она меня любит?

— Не знаю. Вы вчера были в дурном настроении, а собаки это ценят — с ними хотя бы честно.

Хэтти посмотрела на проём. Потом на изгородь.

— У вас изгородь подстрижена, — сказала она.

— Да.

— А у меня нет.

— Да.

— Она вообще-то общая.

— Общая, — согласился он.

— То есть вы подстригли свою половину.

— Свою половину, — сказал он.

Хэтти смотрела на ступеньку.

— А почему половины?

— Потому что граница проходит по середине, — сказал он. — Изгородь посадили в пятидесятых на меже, чтобы не ставить забор. Половина на моей земле, половина на вашей. Ваша бабка...

— Не моя, — сказала Хэтти.

— Ваша мать, — поправился он без паузы. — Ваша мать эту половину не трогала, по крайней мере лет восемь. Поэтому она у вас три метра и с дыркой. Дырка оттого, что изнутри выгнило.

— И вы решили, — сказала Хэтти медленно, — что подстричь половину — достаточное решение.

— Я решил, что подстричь чужое без спроса — это то, из-за чего соседи перестают здороваться.

— А то, что у вас теперь половина изгороди, а у меня стена, — это как должно выглядеть?

— Как компромисс, — сказал он.

Через двадцать минут Хэтти стояла у себя в гостиной с телефоном в руке и искала человека с рулеткой.

Она нашла три фирмы. Первая отвечала автоответчиком. Вторая предложила «бесплатную консультацию» на сентябрь. Третья взяла трубку, спросила адрес, сказала «Пайн-Клоуз, тупик?», надолго замолчала и сказала:

— У вас сосед из пятого?

— А что.

— Нет, ничего. — Пауза, в которой было очень много «ничего». — Мы в тот дом уже выезжали. У него план от геодезиста.

— У кого?

— У вашего соседа. — И, с той интонацией, с какой говорят вещи, которые должны быть приятной новостью: — Так что если у вас своего нет, у нас, к сожалению, тот адрес за-

крыт. Мы с ним судились.

— Вы судились?

— Он выиграл, — сказала женщина с достоинством. — Но выиграл по-человечески.

Хэтти медленно опустилась на подоконник.

— Сколько стоит план от геодезиста?

— У нас? — Женщина назвала цену. Хэтти записала её на обороте счёта за электричество, который нашла в коробке, и посмотрела на цифру.

Двести двадцать фунтов за то, чтобы человек пришёл и сказал ей то, что ей уже сказал сосед.

— Спасибо, — сказала она. — Я подумаю.

— Подумайте, — сказала женщина. — Но он всё равно выиграет.

Хэтти положила трубку.

В дверь постучали — три удара и один. Так стучала только она.

Она привезла стул.

Один.

— Здравствуй, — сказала она, внося его в прихожую и ставя у стены, как в галерее. — Ещё привезу. Ты чем питаешься?

— Чем-нибудь.

— Я так и думала. — Мать обошла гостиную, оценила матрас, оценила розетку без крышки, ничего не сказала и открыла сумку. — Бойлер я тебе включила, там сзади кнопка,

ты не догадалась. Зеркало твоё в коробке, не в этой, в другой, я подписала. И вот.

Она протянула папку.

— Что это?

— Оргкомитет, — сказала мать. — Ты этим занималась.

— Чем я занималась?

— Мероприятиями. — Мать произнесла это как врач диагноз. — Ты же в Италии этим занималась. Мероприятия.

— Я организовывала приёмы для люксовых брендов.

— Вот и у нас будет приём, — сказала мать. — Только для деревни. Летний праздник. Ты сама видела объявление, оно у тебя в коробке лежит, я знаю, что у тебя в коробке лежит, я тебе эту коробку собирала.

— Я не буду.

— Первое собрание в четверг. — Мать не слышала её, как телефон сломанного динамика не слышит тебя. — В церковном зале. В семь.

— Мам.

— И с Кэлом ты помирилась. Это хорошо. Он в комитете.

Хэтти отняла руку от папки.

— Что значит в комитете.

— Он в комитете, — сказала мать. — С тех пор как переехал. Он отвечает за литературную часть.

Хэтти очень медленно положила папку на подоконник.

— За какую часть, — сказала она.

— За литературную. — Мать подняла брови ровно на-

столько, насколько нужно, чтобы Хэтти поняла, что она всё понимает. — У нас на празднике бывает конкурс. Люди пишут. А кто-то же должен судить. Годы назад судил викарий, но викарий...

Мать махнула рукой.

— Мам, — сказала Хэтти. — У меня нет денег. У меня нет стула. У меня нет работы. И ты хочешь, чтобы я...

— Я хочу, — сказала мать, и голос у неё вдруг стал ровный и очень взрослый, — чтобы ты в четверг вышла из дома.

Она поставила сумку на пол, чего никогда не делала.

— Когда мне достались эти два дома, — сказала она, — я год ничего не делала. Год. Сидела в этом тупике и ждала, когда кто-нибудь придёт и скажет мне, что теперь. — Она посмотрела не на Хэтти, а в окно. — Никто не пришёл. Праздник этот я тяну с тех пор, как миссис Райт не стало. Столько лет, одна. Терпеть не могу, когда меня за него благодарят, и терплю только потому, что в тот год, когда я его не потянула, его не было. Ни праздника, ни людей, ни тупика. Одна я и две косилки.

Она подняла сумку.

— Четверг, — сказала она. — Семь. И не одевайся, как на похороны.

И вышла.

* * *

Вечером Хэтти сидела на единственном стуле, у окна, в гостиной, в которой не было мебели, и не включала свет.

Дом скрипел. Не зловеще, а по-стариковски: суставы, ступеньки, какая-то деревянная тяжёлая вещь наверху, которая каждый раз оседала с задержкой.

Она думала о двух вещах, и обе были в своём роде неприличны.

Первая: двадцать фунтов. Он их не вернул. Не потому, что ему были нужны двадцать фунтов, а потому, что он не захотел сделать это просто. «Пока не решил» — это фраза человека, который держит дверь приоткрытой и смотрит, кто войдёт.

Вторая: руки.

Она поймала себя на этом примерно в половине десятого и очень старательно попробовала запихнуть это обратно, но не вышло. Когда он взялся за задок машины, жилы на предплечье натянулись, и она увидела это так, как видят, то есть мгновенно и без разрешения. А утром, когда он стоял на крыльце с кружкой, у него на ладони была короткая белая метка, шрам, и она успела про себя проследить, откуда он мог взяться, раньше, чем успела сказать себе, что её это не касается.

Ничего не произошло. Ни вчера, ни утром. И всё же она сидела в темноте, на одном стуле, в пустом доме, и ей было под тридцать, и она прекрасно знала, как выглядит то, с чего начинается то, от чего потом очень трудно отказаться.

Телефон на подоконнике загорелся.

«Ты как?»

Нэд. Два слова, без вопросительного знака, потому что он никогда не ставил вопросительных знаков, чтобы вопрос не выглядел требованием, и потому что он считал, что этим становится лучше. Она смотрела на экран, пока он не погас.

Потом перевернула телефон.

За стеной, в пятом доме, Бисквит глухо, дважды, гавкнула в темноте — сообщая факт, а не выражая чувства, — и Хэтти, к своему огромному огорчению, поняла, что узнала эту собаку.

Глава третья. Шесть человек и чайник

Церковный зал был пристроен к церкви сбоку, как мысль, которую передумали.

Хэтти пришла в шесть пятьдесят три минуты и обнаружила, что дверь уже открыта, свет горит, а внутри пахнет так, как пахнет во всех церковных залах Англии одновременно: пыль на радиаторах, растворимый кофе, мокрые куртки и очень старая бумага.

Столы стояли буквой П. На столах — чашки с гербами, блюдо с печеньем, чайник на подставке, ещё один чайник без подставки, кувшин.

За столом сидели шесть человек и смотрели на неё.

— Харриет, — сказала женщина в конце стола. — Я знала твою мать, когда она ещё не была твоей матерью.

— Здравствуйте.

— Миссис Харрис. Садись сюда, около отопления, оно сегодня работает. — Миссис Харрис сделала паузу, чтобы все оценили это чудо. — Я веду собрание, потому что больше никто не хочет. Знакомься. Это мистер Пью, он отвечает за лотерею.

Мистер Пью приподнял руку на два сантиметра.

— Это Дениз, она отвечает за выпечку. Это её сестра Бар-

бара, она отвечает за выпечку вместе с Дениз, они не разговаривают друг с другом с апреля.

Две женщины в одинаковых кофтах, сидевшие через два стула, посмотрели в разные стороны.

— Это преподобный Оксли, — миссис Харрис показала на мужчину лет сорока, который был единственным, кто выглядел так, будто ему здесь интересно. — Он у нас новый, ему ещё не сказали, что он не должен соглашаться.

— Я уже догадался, — сказал преподобный Оксли.

— И это Кэл, — сказала миссис Харрис.

Кэл сидел в конце буквы П, у стены, с чашкой в руке. Он кивнул Хэтти, как кивают человеку, с которым виделись утром и поссорились об изгороди.

— Мы знакомы, — сказала Хэтти.

— Прекрасно, — сказала миссис Харрис без всякого интереса. — Тогда перейдём к делу. У нас двести сорок дней.

— До чего? — спросила Хэтти.

— До праздника.

— Двести сорок.

— Восьмое марта. — Миссис Харрис уже смотрела в свои бумаги. — В прошлом году было в июле, потому что до этого три года было в августе, а до этого в сентябре, и мы всё время теряли шатёр, поэтому в этом году решили сдвинуть и посмотреть, что получится. Если не получится, вернёмся в июль. Кто-нибудь, откройте окно, здесь душно.

Дениз и Барбара одновременно посмотрели на окно и од-

новременно не встали.

Хэтти открыла окно.

Когда она обернулась, все смотрели на неё с тем особенным выражением, с каким люди смотрят на человека, который только что показал, что умеет ходить.

— Прекрасно, — сказала миссис Харрис. — Тогда ты и будешь координатором.

— Я не...

— Один человек должен держать всё в руках. У нас его никогда не было, поэтому у нас три года не было шатра. — Она перевернула лист. — Теперь лотерея. Мистер Пью?

Мистер Пью изложил состояние лотереи. Состояние было плохое. Призы собирались за счёт местных, местные сдавали то, что им не нужно, и за последние годы лотерея превратилась в процедуру, в ходе которой жители Пайн-Клоуз и окрестностей обменивались друг с другом своими ненужными вещами за деньги, которые шли на нужды церкви. В прошлом году главным призом был набор для игры в крокет без одного шара.

— Крокет, — сказала миссис Харрис с отвращением. — И человек, который его выиграл, потом приходил и говорил, что нам не хватает шара.

— У него был шар, — сказал мистер Пью. — Просто не тот.

— Он был чужой.

Хэтти слушала и отмечала, что делает её тело. Тело, про-

тив всякой её воли, уже начало составлять список: кто в зале главный, кто мешает, где деньги, чего боятся, что можно пообещать. Девять лет привычки сидели в ней, как двигатель на холостом ходу, готовые включиться от одного слова.

Это было неприятно. Это было очень приятно.

— Вопрос выпечки, — сказала миссис Харрис.

Дениз и Барбара начали говорить одновременно, потом замолчали одновременно, потом Дениз сказала:

— Я не могу быть в жюри, если она в жюри.

— Я и не хочу быть в жюри, — сказала Барбара.

— Ты хотела.

— Я сказала, что подумаю.

— Ты сказала это в апреле.

— Я и сейчас думаю.

— Девочки, — сказала миссис Харрис, и в голосе её не было ни капли надежды.

Тут Хэтти услышала себя:

— А кто судит?

Все повернулись.

— Что? — сказала она.

— Ты спросила, кто судит, — сказала миссис Харрис.

— Я спросила, кто судит.

— Так вот, никто. Мы четыре года не могли найти человека, который согласился бы судить выпечку в деревне, где живут его соседи.

— Можно судить по-слепому, — сказала Хэтти.

Миссис Харрис замерла.

— Как? — спросила она, и в этом коротком слове было больше внимания, чем во всём заседании.

— Номера. Каждый приносит свою вещь с номером, без имени. Жюри не знает, где чьё. — Она уже говорила быстрее, чем хотела. — И ещё: пусть приз будет не за лучшую выпечку, а за... — она поискала, — за самый неожиданный результат. Типа, кто испёк что-то, что не должно был получить, но получил.

Пауза.

— Кто испёк что-то, что не должен был получить, но получил, — повторила миссис Харрис, пробуя фразу на зуб. Потом посмотрела на Дениз и Барбару. — Вот. Вот.

— Мы можем… — начала Дениз.

— Мы можем, — сказала Барбара.

И они посмотрели друг на друга впервые за вечер.

Хэтти подумала: я только что помирила двух сестёр с помощью соревнования по несъедобной выпечке, и это, вероятно, лучшее, что я сделала за три года.

Миссис Харрис записывала. Записывала она долго, и все молчали, кроме мистера Пью, который сказал, что если менять правила лотереи, то он не уверен, что на это есть полномочия, и миссис Харрис сказала, что полномочия есть у того, кто в семь вечера в четверг сидит в церковном зале с чайником, а мистер Пью сказал, что это не прописано, и миссис Харрис сказала, что прописано в Евангелии, и мистер Пью

замолчал.

— Дальше литературная часть, — сказала миссис Харрис. — Кэл.

Кэл поставил чашку.

— Конкурс будет, — сказал он. — Две категории: школьники и взрослые. Рассказ, две тысячи слов. Тема свободная. Приз — двести фунтов из общего фонда.

— Двести фунтов, — сказала Хэтти.

— Приз из общего фонда лотереи, — уточнил мистер Пью, — за счёт средств, полученных от продажи билетов, и это, я считаю, вообще не расход.

— Мистер Пью, — сказала миссис Харрис.

— Я молчу.

Хэтти смотрела на Кэла.

— А судья?

— Судья извне, — сказал он. — Так безопаснее. Я не читаю то, что написали люди, с которыми я живу на одной улице.

— Вы же критик.

— Поэтому и не читаю.

— То есть вы не будете никого читать.

— Я буду не единственным, — сказал он. — Найду кого-нибудь второго.

— И третьего, — сказала миссис Харрис. — Ты не можешь быть единственным, ты же сказал, что не можешь быть единственным, ты это говоришь уже четыре года.

— Я ищу, — сказал Кэл.

— Он ищет, — сказала миссис Харрис миру.

Хэтти села.

Она села и обнаружила, что у неё в руке стакан с чаем, которого она не наливала, и что печенье, которое она съела, было третьим, и что мистер Пью объясняет что-то про смету, и что она слушает, и что ей хочется в это влезть.

Она поймала себя.

Это было то самое, за что её держали в Милане девять лет: способность войти в комнату, где восемь человек не могут договориться о дате, и через сорок минут выйти из неё с решением, которое все считают своим. Она знала, как это делается. Она делала это для людей, у которых были деньги, машины и репутации; здесь это работало точно так же, только чай был хуже и приз был крокетный.

Она вышла из зала в восемь сорок, и вместе с ней вышли все, кроме Кэла, который остался мыть чашки.

* * *

— Ну? — сказала мать в трубку, когда Хэтти шла по улице в темноте.

— Я координатор.

— Ага.

— Что значит «ага».

— Ага значит ага. — Пауза, в которой было слышно, как мать на том конце довольна и как она не собирается это показывать. — Ты зачем-то отменила старую лотерею, мне уже

звонили.

— Это была не я. Это миссис Харрис.

— Мне позвонила Дениз и сказала, что ты помирила её с Барбарой.

— Я не...

— Помирила или не помирила?

— Они помирились из-за выпечки.

— Они двенадцать лет не разговаривали из-за выпечки, — сказала мать. — Одной и той же. Ну всё. Позвони Кэлу, он тебе скажет, что по литературе надо.

— Зачем мне звонить Кэлу.

— Затем, что он в комитете и он знает, а я нет, а я не собираюсь тебе объяснять литературу, у меня об этом всё равно ничего в голове нет. — И, помолчав ровно столько, сколько нужно: — Он тебе вчера изгородь подстриг. Не подстриг, но всё равно.

— Мам.

— Всё, спокойной ночи.

Она шла по тупику к своему дому, и дом был виден издалека, потому что над крыльцом горел фонарь, который на всей улице горел один.

У пятого дома свет в окне был включён, и в окне была видна часть человека, сидящего за столом, и на столе было что-то светло-жёлтое, страниц на двести.

Хэтти остановилась.

Не потому, что ей было интересно. Потому что было ров-

но восемь сорок три, и он мыл чашки в церковном зале, а свет у него горит. Значит, он пришёл раньше, чем мог. Значит, он ушёл до конца уборки. Значит, у него дома что-то было срочное.

Страниц на двести.

Она подумала это и тут же испытала очень неприятное чувство, которое ей не сразу удалось назвать: не любопытство и не злость, а самую обычную зависть. Двухсот страниц. У неё не было двухсот страниц. У неё вообще ничего не было.

Дома она открыла ноутбук и посидела над ним.

Потом открыла новый файл.

В верхней строке было написано: «Рассказ».

* * *

То, что она написала в ту ночь

Про женщину, которая вернулась в родной город и обнаружила, что все её помнят лучше, чем она сама себя.

Абзац первый: «Она приехала ночью, потому что днём было бы слишком заметно».

Абзац второй: «Ей было двадцать восемь лет, и всё, что у неё было, она носила в сумке».

Абзац третий: она не помнила, как это писать.

Хэтти сидела над третьим абзацем сорок минут. Потом сохранила. Потом легла.

За стеной, в пятом доме, Бисквит глухо, дважды, гавкнула в темноте, и Хэтти подумала: ровно два раза, как часы.

Потом она подумала, что подумала про часы, и что это очень глупо, и что завтра в десять она захватит письмо от миссис Харрис, чтобы был повод, и в этом поводе будет всё, что она не хотела себе объяснять.

* * *

Глава четвёртая. Право собственности

Война началась с парковки.

Формально — с того, что Хэтти поставила машину у самого въезда в тупик, на дороге, где стоять было можно, потому что это была не чья-то земля, а общая, и потому что тридцать сантиметров между изгородью и чужим крылом её не устраивали как принцип.

Фактически — с того, что теперь, чтобы выехать из тупика, всем приходилось объезжать её машину, а объезжать было негде, и весь Пайн-Клоуз, все восемь домов, каждое утро делали маленький дополнительный манёвр, о котором знали, что он лишний.

Никто ничего не сказал.

Это было хуже всего.

На четвёртый день под дворники ей положили записку. Записка была не от Кэла — почерк был женский, а бумага была из тех блокнотов, что продаются в церковной лавке, — и в ней было сказано: «Уважаемая жительница дома 4, не могли бы Вы переставить автомобиль, он мешает выезду. С уважением, жители».

«Жители». Не подписано. Хэтти прочла записку трижды и почувствовала, что ей под тридцать и она только что полу-

чила замечание от всего тупика сразу.

Она переставила машину.

И на этом, если бы всё закончилось, книги бы не было.

* * *

Яблоки появились в понедельник.

Хэтти вышла утром на заднее крыльцо с кружкой и обнаружила, что её газон — тот самый, который она ни разу не трогала и который представлял собой скорее траву, чем газон, — усеян яблоками. Крупными, зелёными, с одной стороны красными. Их было штук сорок.

Она подняла голову.

Над её газоном, отступив от изгороди метра на полтора, стояла яблоня. Яблоня росла не у неё. Яблоня росла у Кэла.

Половина её кроны, толстая, старая, кривая, свисала через изгородь и висела прямо над газоном Хэтти, как рука, которую положили на чужой стол.

Хэтти поставила кружку и сказала вслух:

— Ну конечно.

К вечеру она знала про яблоки всё, что можно знать, и знала это с той особенной яростью, с какой узнают, что закон не на твоей стороне.

Она перечитала четыре страницы форума садоводов, две страницы юридического сайта и один форум, где люди ругались с двухтысячного года. Из всего этого следовало:

— яблоки на её земле принадлежали ей, потому что упали сами;

— рвать их с ветки она не имела права;

— ветки, свешивающиеся на её землю, она имела право обрезать;

— но если она их обрежет так, что дерево погибнет, ей предъявят иск;

— и, что особенно бесило, если она соберёт упавшие яблоки и выбросит их обратно на его землю, это, по мнению трёх разных людей на форуме, «не по-соседски».

Хэтти сидела на единственном стуле и смотрела в экран.

Она завела таблицу.

В таблице было четыре колонки: дата, событие, доказательства, что это доказывает. Доказательств пока не было. «Что это доказывает» она в первый вечер заполнила одной строкой и потом стёрла, потому что строка была «что он делает это нарочно», а доказательств не было.

* * *

В среду она собрала яблоки.

Сорок два штуки. Она собрала их в пластиковый ящик из-под пива, который нашла в сарае, вымыла ящик, потому что он был грязный, сложила яблоки ровно, рядами, и поставила ящик у его крыльца.

На ящик она положила записку. Записку она переписывала дважды.

Первый вариант: «Ваши яблоки».

Второй вариант: «Ваши яблоки. Пожалуйста, обрежьте ветки или соберите их сами».

Третий вариант: «Ваши яблоки. Спасибо, что поделились. Х.»

Она выбрала третий, потому что он был самый ядовитый, и поставила ящик в шесть вечера, когда его машины не было.

Через два часа ящик стоял у её двери.

В ящике лежали те же сорок два яблока, уложенные так же ровно, рядами, и сверху — лист А4, в файлике, отпечатанный, с одной стороны. Он был отформатирован.

Хэтти стояла в темноте с этим листом и читала.

«Уважаемая мисс Прайс.

Благодарю за яблоки. Они, к сожалению, не мои.

Согласно установившейся практике (см. Mills v Brooker, а также разъяснение в сборнике «Право соседства», гл. 4), плоды, упавшие с дерева на чужой участок естественным образом, принадлежат владельцу участка, на который они упали. Ветви, свешивающиеся на чужой участок, могут быть обрезаны владельцем этого участка до границы, при условии, что обрезка не приведёт к гибели дерева.

Таким образом, яблоки — Ваши.

Если Вы предпочитаете, чтобы плоды не падали на Ваш газон, ветви можно обрезать. Я не возражаю. Обрезку до границы следует производить в период с ноября по февраль. Я могу порекомендовать человека.

Отдельно: если Вы всё же решите вернуть мне плоды, примите во внимание, что они будут считаться подарком, а подарки, согласно моему личному опыту, изымаются обратно

крайне редко, и это делает их обременительными.

С уважением,

К. Морган

P.S. Ящик хороший. Где брали?»

Хэтти прочла это три раза.

Потом прочла ещё раз, четвёртый, медленно, как читают то, что хочется найти неправильным.

Потом сказала вслух, в пустую прихожую, с очень большим чувством:

— Сноску.

Он поставил сноску. В записке про яблоки на ящике из-под пива.

Она вошла в дом, включила свет, положила лист на подоконник и села на стул смотреть на него.

«Они будут считаться подарком, а подарки… изымаются обратно крайне редко, и это делает их обременительными».

Это было не про яблоки.

Хэтти очень отчётливо поняла, что это было не про яблоки, и что он знал, что она это поймёт, и что теперь ей придётся решать, делает она вид, что не поняла, или нет.

Она сделала вид, что не поняла.

Утром она вышла с листодувом.

Листодув был отцовский, мощный, и в восемь утра он звучал так, что его было слышно, вероятно, в церкви. Хэтти направила трубу на газон, подняла все листья вместе с двумя яблоками, которых она не заметила, довела их до изгороди

и очень аккуратно, длинной струёй, перебросила через изгородь на его сторону.

Получилось красиво. Листья легли ровным слоем на его подстриженный газон, как посыпка.

Она выключила листодув.

Из-за угла пятого дома вышел Кэл с кружкой.

Он посмотрел на газон. Посмотрел на неё. Посмотрел на газон.

И сказал:

— Спасибо.

— Что? — сказала Хэтти.

— Я как раз собирался собирать, — сказал он. — Теперь всё в одном месте.

Он не улыбнулся. Он вообще, кажется, не умел улыбаться так, чтобы это было заметно, — у него менялось только что-то вокруг глаз, на полсекунды.

— Вы невозможны, — сказала Хэтти.

— Я знаю, — сказал он и ушёл в дом.

* * *

Ответ пришёл через день, и он был не в виде записки.

Он пришёл в виде калитки.

У Хэтти была калитка в сад, между домом и изгородью, старая, деревянная, которая висела на одной петле и которую она за всё время ни разу не открыла, потому что она не открывалась. Хэтти к ней привыкла так, как привыкают к предметам, которые не работают: перестаёшь видеть.

В пятницу калитка открывалась.

Петли были смазаны, вторая петля была прикручена заново, и на верхней перекладине, там, где доска отходила, стояла струбцина. Кто-то её принёс, прикрутил, смазал и ушёл.

Хэтти стояла и держала калитку открытой.

И вот тут она разозлилась по-настоящему — так, как не разозлилась ни на записку, ни на яблоки, ни на лист с цитатой из старого издания. Потому что записку можно было перечитать и оскорбиться, листья можно было перебросить обратно, а калитку нельзя было ни перечитать, ни перебросить. Калитка просто работала.

Она пошла через эту калитку.

Кэл был у себя за домом, у машины, лежал на доске под передней частью и работал руками над тем, что Хэтти не могла опознать.

— Вы смазали мою калитку, — сказала она.

— Да.

— Почему?

Он выехал из-под машины на доске, сел, вытер руки о тряпку.

— Она мне мешала, — сказал он.

— Она вам мешала?

— Она висела так, что через неё было не пройти. Я хожу через неё за яблоками.

Пауза.

— Ах вот как, — сказала Хэтти. — То есть яблоки…

— Яблоки ваши, — сказал он. — Я не говорил, что не хожу за ними.

Она стояла в его саду, у его разобранной машины, и в этот момент поняла, что разговаривает с ним уже больше двух минут, и что ей это нравится.

Это было неприятное открытие. Она попробовала его исправить.

— Вы понимаете, что это абсурд, — сказала она.

— Понимаю.

— Я живу здесь третью неделю. У меня в доме нет ни одного стула, кроме того, что привезла мать. А я стою в чужом саду и обсуждаю с вами ветви, которые свешиваются через границу, как будто это имеет значение.

— Имеет, — сказал он.

— Почему?

— Потому что это единственное, что мы оба можем решить, — сказал он. — Всё остальное в вашей жизни вы сейчас решить не можете. Ветки можете.

Хэтти открыла рот и закрыла.

За домом, в траве, Бисквит лежала, вытянув передние лапы, и смотрела на них обоих с интересом человека, который пришёл на матч без предпочтений.

— Хорошо, — сказала Хэтти. — Ветки обрежу в ноябре.

— В ноябре у вас может не быть настроения.

— У меня будет настроение.

— Хорошо, — сказал он.

Она не уходила.

— Что это за машина?

— Тысяча девятьсот семьдесят второй, — сказал он. — «Спитфайр». Почти.

— Что значит «почти»?

— Значит, что из родного там рама, и то не вся.

— Сколько вы её собираете?

— Четвёртый год.

— И сколько осталось?

Он посмотрел на машину долго, так, как смотрят на что-то, с чем не хотят расставаться.

— Не знаю, — сказал он. — Я не ставлю задачу собрать.

— А какая задача?

— Чтобы было чем заняться.

Хэтти стояла и смотрела на него сверху вниз, потому что он так и сидел на доске, на земле, с тряпкой в руке и с этой своей манерой отвечать не сразу.

— Это очень удобно, — сказала она. — Всю жизнь можно что-нибудь не заканчивать.

Он поднял на неё глаза.

И сказал:

— Да.

И в этом «да» было столько спокойствия, что Хэтти впервые за всё это время почувствовала себя не разоблачённой, а — хуже — понятой.

— Мне пора, — сказала она.

— У вас есть стул, — сказал он. — Один.

— Есть.

— Я не про то. — Он встал, и это было первое, что он сделал за весь разговор быстро. — У меня в сарае три стула. От родителей. Они мне не нужны.

— Я не...

— Это не подарок, — сказал он. — Это хлам. Хлам можно отдать.

Она посмотрела на него.

— Хлам, — сказала она.

— Хлам.

— Хорошо.

Три стула она несла через калитку по одному, и на втором стуле, снизу, на перекладине, была наклейка с ценой, которой уже не было видно, потому что она выцвела, и всё равно было видно, что наклейка есть, и что она содрана не до конца, и что стулья не были хламом ни одной секунды.

Вечером она поставила их вокруг ничего — вокруг пустого места в гостиной, где когда-нибудь будет стол, — и села на один.

Лист А4 в файлике она положила в чёрную папку с резинкой, в ту же, где лежала копия завещания и мамино объявление.

Она сказала себе, что это доказательство.

В колонке «что это доказывает» она потом дописала: «что он читал Mills v Brooker».

И это было не то, что она хотела написать.

* * *

Глава пятая. Мэгги

Мэгги приехала в субботу в фургоне ветеринарной клиники, поставила его поперёк тупика, вышла и сказала:

— Давно.

— Что, давно? — спросила Хэтти.

— Столько я тебя не видела. — Мэгги обняла её так, как обнимают людей, которых не видели девятнадцать лет: крепко, коротко и с ощущением, что где-то здесь должна быть шутка. — Ты похудела.

— Ты поправилась.

— Спасибо, — сказала Мэгги с удовольствием. — Это от счастья.

Она была в клинике главным человеком, который держит собак, и её фургон пах так, что Хэтти пришлось отступить на полшага. Она вошла в дом, обошла гостиную, увидела три стула вокруг пустого места и остановилась.

— Стулья, — сказала она.

— Да.

— Три.

— Да.

— И стол будет?

— Будет.

— Откуда стулья?

Хэтти открыла рот, чтобы сказать «от матери», и обнару-

жила, что эта ложь требует ещё одной, и ещё одной, и что Мэгги в свои неполные тридцать видела столько врущих людей, что это не имеет смысла.

— От соседа, — сказала она.

Мэгги села на один из стульев.

— От Кэла Моргана, — уточнила она.

— Ты его знаешь?

— Я его стригла, когда он был мальчиком и у него были волосы, — сказала Мэгги. — Это не то, что ты думаешь. Его мать водила его ко мне в парикмахерскую на Рыночной, потому что я была единственная, кто не задавал вопросов. — Она помолчала. — Я задавала вопросы. Но не вслух.

Она посмотрела на Хэтти очень прямо.

— Ну.

— Что «ну».

— Что значит «ну стулья от соседа». — Мэгги положила сумку на пол. — Я не уехала из этой деревни, Хэтт. Я здесь живу. Тут восемь домов. Тут все всё знают к утру, включая то, что не происходило. Так что если ты хочешь мне что-то не рассказывать, расскажи лучше сейчас, потому что через неделю мне расскажет миссис Харрис, и это будет хуже.

Хэтти села на второй стул.

— Он смазал мою калитку, — сказала она.

— Всё?

— И отдал три стула.

— Всё?

— И в первую ночь я дала ему двадцать фунтов, потому что решила, что он рабочий.

Мэгги очень медленно поставила чашку, которую взяла, чтобы что-нибудь взять.

— Двадцать фунтов.

— Да.

— За что?

— Чтобы откатил машину.

Мэгги смотрела на неё несколько секунд, и в этом взгляде не было ничего приятного.

— Ты понимаешь, — сказала она, — что это единственное, о чём здесь будут говорить до Рождества?

— Понимаю.

— Нет, не понимаешь. — Мэгги наклонилась вперёд. — Здесь говорят о человеке, который когда-то поставил забор на десять сантиметров не туда. Десять сантиметров. Давно. Ты дала литературному критику двадцать фунтов, чтобы он подвинул свою машину.

— Он не сказал, что он критик.

— Он никогда ничего не говорит. — Мэгги откинулась на спинку. — Это его единственная дурная привычка, и она у него вместо всех остальных.

* * *

Они пошли в «Пять колоколов» в половине седьмого, и это был тот единственный раз за всю книгу, когда Хэтти узнала свою деревню с первой попытки.

Паб был маленький, с низким потолком, с фотографиями на стене, с собакой, которую никто не привёл, и с барменом по имени Алан, который сказал «ты же Харриет» так, будто она выходила на минуту и вот вернулась.

— Я вас не помню, — сказала она честно.

— А я тебя помню, — сказал Алан. — Ты совсем девчонкой зашла и спросила, есть ли у нас «Секс в большом городе» на видике.

— Мне было совсем мало.

— Ещё лучше.

Мэгги заказала два сидра и рассказала ей, как здесь всё устроено, за несколько минут и без пощады.

Кто с кем в ссоре. Кто написал жалобу на выгул собак. Чей забор давно стоит на десять сантиметров не туда и почему это теперь принципиально. Кто выиграл конкурс выпечки в тот год и почему его результаты больше никогда не упоминались.

— Слушай, — сказала Мэгги, когда принесли второй. — Я тебе скажу один раз, а потом не буду.

— Скажи.

— Ты вернулась и ведёшь себя так, будто тебе здесь не место. Это нормально, все так делают. — Она обвела рукой паб. — Но здесь не театр, Хэтт. Тут люди. Тот же Кэл. Он не обязан разыгрывать с тобой пьесу, где он мастеровой, а ты умная.

— Я не...

— Ты приехала, и я тебе рада. Очень. — Мэгги стукнула стаканом об стол так, что это прозвучало почти как тост. — Но если ты вернулась, чтобы подождать, пока жизнь снова начнётся, то жизнь уже идёт, и он в ней тоже живёт.

Хэтти посмотрела в свой сидр.

— А ты? — спросила она. — Ты не уезжала. Ты не жалеешь?

Мэгги подумала, как думают люди, которым этот вопрос задавали раньше.

— Я два раза собиралась, — сказала она. — Один раз в молодости, один раз потом. Оба раза у меня были билеты и оба раза что-то случалось. Первый раз умерла собака у Харгроува, и мне надо было за ней приехать. Второй раз мама сломала бедро. — Она отпила. — И знаешь что? Я потом год думала, что жизнь меня за что-то наказывает. А потом перестала. Здесь у меня клиника, шесть человек под началом и двадцать три спасённых пса. Если бы я уехала молодой, у меня было бы другое, а не лучше.

— Ты уверена?

— Нет, — сказала Мэгги. — Но я не обязана быть уверенной, чтобы так жить.

* * *

Домой они шли в темноте, и тупик был виден издалека по единственному фонарю.

У пятого дома в окне горел свет, и Хэтти, к своему стыду, это заметила, и Мэгги, к ещё большему стыду, заметила, что

она это заметила, и ничего не сказала.

Перед четвёртым домом Мэгги остановилась.

— Калитка, — сказала она.

— Что калитка.

— Она открыта.

Калитка действительно была открыта. Хэтти закрывала её днём, когда носила стулья, и она была уверена, что закрывала, потому что это была калитка, которую она закрывала теперь всегда — так работает рука, когда предмет начинает работать.

Мэгги посмотрела на калитку, потом на пятый дом, потом на Хэтти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.